



МИР ПИСАТЕЛЯ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
“ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ”
ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ
“ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ РОССИИ...”
ИНДЕКС: 26260.
ИНТЕРНЕТ: <http://zavtra.ru/>

О романе Захара Прилепина “Обитель”

О романе можно написать много, а можно мало. Но лучше мало: плох роман, если приходится много говорить по его поводу. Я пишу в надежде, что многие “Обитель” прочли. А если нет — то прочтут, обязательно. Я пишу тезисно: “как?”, “что?”, “зачем?”. Ну и два слова о главном герое.

Роман втягивает в себя как прямая и широкая дорога. Или взлётная полоса, на которой попадают в, в трещинах бетонки, кусты карагача. Валетал я, таким образом, двое суток — то чертыхаясь, то просто морщась от барачного духа — такого устойчивого, такого настойчивого, что его можно вынести на поля страниц. Понятно, что голод, холод и мизантропия, что неутоленность, дрожь и гнев — это та фактическая действительность, которая только и есть у человека в заключении. Тем более, в таком — соловецком. Что мысли о еде, тепле, женщинах — это дело постоянное. И что говорить: острая нужда обнажает суть жизни, человеку — показывает самого себя, проламывает в отношениях всё напускное, ненастоящее, сметает культурный лоск... Да: “человек такая скотина, что...”. Это слышали все. Но. Человек, способный стать героем романа, немедленно вступает в противостояние с тем, как гнут его обстоятельства. Этот человек способен на поступок. И тогда его размышления, его протестная рефлексия связаны с ситуацией готовности к чему-то, даже если нет возможности действовать, есть хотя бы мечта, есть желание понять происходящее с собой. Либо окружающий кошмар медленно теряет интенсивность, остроту субъективного восприятия и человек начинает жить по новым правилам. Горянон совершает поступки бессознательно, а примерно четверть первой книги романа он жуёт. У него почти нет мыслей, а только стихийные реакции. Иногда слишком стихийные: как-то раз он умудряется после недельного поста (почти голодовки) на Секирке выпить на десерт после вполне себе ударного ужина 12 кружек кипятка... Понимаете, хронически недооценивающий человек не в состоянии осилить даже те свои привычные домашние тарелки первого и второго. И ему приходится выбирать: то или другое. Я знаю это по себе. Ну да не это главное.

Лично я к Артёму привык и привязался. Мне было жаль, что он не остался в живых. Этот баклан неопределённых убеждений. Москвич, гимназист, театрал, читатель... У которого так немного мыслей. Какой-то “битый фаер” (натура редкая, как “Фартовый” в книге Леонида Мончинского “Чёрная свеча”), то — и по преимуществу — не поймаешь что, щепка в реке лагерной жизни, дрянь, у которой не хватило духу выйти и посмотреть в глаза матери, приехавшей за тысячу верст с подписанным заявлением на руках. Не бывает так. А если бывает, то не с теми, в чьих глазах нет страха, не с теми, кого выбирают комиссарши. Артём — маленький человек без прошлого и будущего. С будущим понятно: надо выжить, дожить до него. Но хочет ли он этого? Несмотря на приязненное отношение и добрый совет старших, несмотря на определённый фарт Артёма, живущий инстинктом, продолжает совершать нелепые поступки. Ну вот не пропадают такие здоровые, грамотные, не трусливые, молодые со сроком три года и подержкой матери. Артёма же не в силах вытащить из перипетий и могучая сотрудница лагерного надзора (по современным понятиям — старший оперуполномоченный). Артём оказывается во власти событий, в сети, к которой сам, по сути, не имеет отно-

шения. Система мертвенна, железна, торчащие гвозди в ней забивают по самую шляпку, скрипящие колёса смазывают юшкой или выбрасывают. Жизнь Артёма на Соловках — беспре-рывная агония.



Агония не подразумевает будущего, не подразумевает, что человек знает мысли, у неё уже нет прошлого. Потому и не может увидеть сына мать: его уже нет,

Максим ЕРШОВ

Чайки не знают молитв

последний удар ножом на озере — только запоздалая телеграмма из будущего, от которого ты отказался. И должен был отказаться, если ты человек...

Но и всё-таки: предназначенная на убий овца не знает слов любви. И тут надо определить, кто это Артём? Баклан, потерпевший, боец, грамотный парень? Лезет он на нож ради тепла, которое мать присылает ему посылкой, или видит (пусть в забытии) мать кверху ногами с повидлом на лице? Человек, убивший отца за попрание светлого образа, или тот, кто не в силах толком помочь женщине, рискуя ради него всем-всем? Могут сказать, что женщина эта не рисковала, а устроила истерику бывшему любовнику (в “Обители” есть эта линия фундаментальной человеческой бес-сознательности и субъективности). А вы верите в такие истории? Женщин, которые влюблены в Троицкого? Такие женщины и дневники заводят, чтобы доказать, что они скорее тёплые, чем нет.

Одним словом, отвечая на вопрос “как” в этом частном случае Артёма Горянонова, — персонаж — кулка на авторской руке, которая оживает в нужный момент. Но может быть, так и было задумано? Почему не предположить, что не всё героям быть звёздами с собственным светом, как, скажем, Санька, или как все остальные отрицательные герои “Обители”. Может же быть герой — луной, зеркалом, отражением? Так или иначе, но он для меня живой человек. И хоть сто раз заставил он поморщиться, а всё равно хочется отчитать его и как-то наста-вить.

“Обитель” изобилует образными сравнениями, усыпана ими, как походная плащаница горькими лепестками. Они стилистически соответствуют эпохе. Напоминают обернутов, Хармса, но больше имажинисты. Вот пример: “— Я, знаешь, что заметил? В Москве солнце заходит — как остывший самовар унесли. В Питере... как петровский пятак за рукав спрятали. В Одессе... как зайца на барабане прокатили... В Астрахани закят такой, словно красную рыбу жарят. В Архангельске — как мороженой рыбой угостили, да мимо пронесли. В Рязани, как муравьями поеденная колода. В Риге — будто таблетку под язык положили. И только тут, как бритвой, — он быстро чиркнул указательным пальцем возле шеи, по горлу...”. Не правда ли, это ярко, поэтично? И, не правда ли, — самодовле-юще? Модернистически.

Вот пример другого свойства: “...Артём проснулся с утра тоже не один, а с соседкой (одного из сокамерников, палача, ночью укусила за ухо крыса. — М.Е.): та мирно сидела рядом, прямо на нарах, смотрела глазком, шершавый хвост лежал недвижимо.

Он совсем не испугался. По старой привычке Артём прятал с обеда хлеб и тут что-то расщедрился: тихо, чтоб не напугать крысу, достал

его из ватных штанов, накатал два шарика.

“Вот. Только не кусай меня за ухо, прошу”.

Та степенно приступила к трапезе: по-крестьянски, не суетясь, разве что не перекрестилась. Во всяком движении её сквозило достоинство и точность. Она никуда не торопилась и ничего не боялась.

— Научи меня жить, крыса! — с тихой улыбкой попросил Артём.

Камера — расстрельная. Крыса — монастырская. И всё-таки мне неприятно, что эти обстоятельства сошлись на крысе, и креститься здесь нужно

ей. Можно подумать, что это очень многозначительный символ. Или гротеск. Но мне это показало издёвкой, неуместной в пролитанном эсхатологическом романе. И вот так — не раз, и не два. Среди параш и гениталий находим мы множество ярких образов, за которые мы могли бы автора восхищённо поблагодарить. Если бы не их нарочитость.

Роман очень длинно влечёт, мучительно тянет за собой. Напоминает полярную ночь. Круги Дантова ада, полные нераскаянных грешников, по-головно достойных ада. Здесь “никого не жалко, никого — ни тебя, ни меня, ни его” — как в песне Сергея Шнурова. Здесь свой Мефистофель, свой Гамлет, свой Зосима (заволжский, а не доостровский).

Должно быть, вскоре мы увидим фильм серий на восемь. Одноимённый или нет, не важно. Дай Бог, смелого режиссёра, фильм можно классный сделать.

О чём роман “Обитель”? Конечно, о человеке, как подобает русской литературе. О человеке неоднозначном, редко сильно, редко правом, смущающемся, заблуждающемся, мятущемся. Трусливом, отчаянном, подлом и грязном...

Лагерник Заболоцкий писал о своей

Колыме несколько иначе:

Рожок гудел и сопка хлопотала,

Узкоколейка плела у реки.

Подобье циклопического вала

Пересекали древний мир тайги.

Здесь,

в первобытном капище природы,

В необозримом вареве болот,

Врубаясь в лес,

проливаясь в воды,

Срываясь с круч,

мы двигались вперёд.

Нас ветер бил с Амура и Амгуни,

Трубил нам лось,

и волк нам был востед.

Но всё,

что здесь до нас лежало втуне,

Мы подняли и вынесли на свет...

... (“Творцы дорог”)

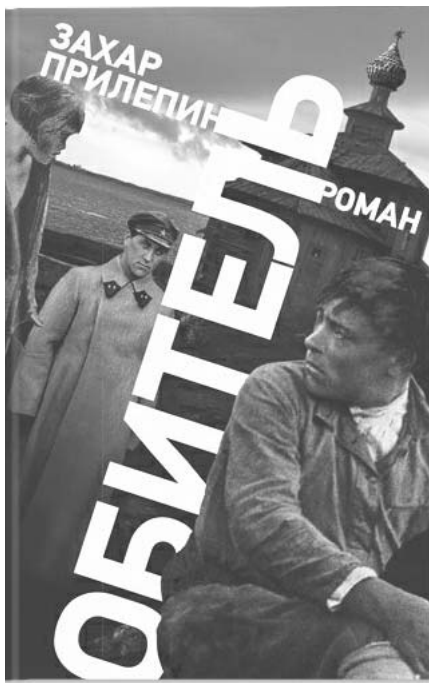
Ни одной капли этого партийного оптимизма не находится ни в одном сидельце из “Обители”. Только в наперстнике Троицкого — начальника Эйхманисе. Только во владычке Иоанне. И нет в этом никакой метафизики, никакой борьбы идей. Есть только честность или её попытка. Что же остальные? Остальные продолжают жить по новым (старым) правилам лагерной (да общей — ибо какая разница!) жизни. Стадо нераскаявшихся... Они глаголят, они вздыхают, им трудно, они выжидают, но за каждым, за каждым (среди героев книги — точно) есть что-то ужасное. И не может увидеть комиссарша Галина никого чистосердечного, убеждённого хоть в чём-то, кроме себя и своей правды. Готового что-то уже признать, понять, начать снова. Только Эйхманис знает и признаёт, что творит, но и знает, что не себя во имя. Только владычка Иоанн,

“работающий” в этой тьме свечой и сгорающий в самом тёмном и близком к Богу месте — на Секирке, в храме, где заманы известные лики святых.

Но человек лишь человек, и Иоанн не без малого грешка (знаемого, называемого им) гордыни. Потому двойится роль Соловецкого окомитителя, и непримиримый к новой власти поп-попрошайка Зиновий начинает главную литургию романа.

— Бесы болтливы, Бог молчалив, — поучал батюшка Зиновий. — Бесы в уши твердят, Бог показывает. Большие деятельны, злобны, неумолчны — заметили?

Зиновий объявлялся то здесь, то там, и всякий к нему стремился, и многие вставали на колени, прося благословения. В церкви стали так часто и размашисто креститься, будто туда налетела туча мух, как в коровник, и все отмахивались.



Артём кривил губы, видя эти глупые движения”.

Зиновия Прилепин пощадил — за твёрдость его (Иоанн погибает в штабеле из людей: он обновленец, готовый сотрудничать с “большаками” в делах веры). Но почему не пощадил несчастных? Почему напустил мух к причастию этому?

Так ли, Захар? Стоит ли бросать обнажённую Последнюю Надежду на пол коровника? Рафка бы улыбнулся, но не одобрил: рафка красивой метафоры на русской вере рубаху не рвёт: иначе античная трагедия, где не хватает лишь хора чекистов, рискует обернуться фарсом — таким же, как крыса, осеняющая себя крестным знаменем, как рыба-сельдь, похожая на кое-что...

Впрочем, может, я чего не понял, Артёму что угодно привидется могло: его же глазами смотрим.

Впрочем же, дух дышит, где хочет, лишь бы хотел дышать. Хоть в коровник, хоть в церкви, и мухи, словно назойливые бесы, могут виться как дым, но всё равно, если вздохнул дух полной грудью — то может и ударить над кающимися незримый колокол... А плоть неприглядна, а человек плох, жалок. А красноармейцы гоняют Вия вокруг храма-изолятора и ржут. И посреди этих полюсов: чертей, рвущихся в двери и окна, и двух батюшек, в брани своей ставших спина к спине, — Артём:

“Руки его были сухие, сильные и злы, сердце упрямо, помыслы пусты”: он видел в окно, что вместо страха

смертного за окном всего лишь собака с колокольчиком, который заместители Судии повесили ей на шею...

В Артёме ничего не изменилось. Вернее, я так и не увидел, чего бы в нём могло измениться, есть ли сама материя, субстанция Артёмова, которая подлещит перемене. В нём даже рефлекс животного — хищного, травоядного — недостаточен. Может быть, поэтому и путь его в одну сторону? “Что?” “Обители” в двух строчках Бродского: “...во всём твоя, одна твоя вина, и хорошо. Спасибо. Слава Богу” — но только не в виде размышлений у окна, а — озарения у края жизни. И на этом развороте содержания Захар Прилепин раскладывает героя своего романа: Россию. В горизонталь взаимосвязей и ответственности современников, в исторической глубине, в смысловой вертикали. Оказывается, что средоточие всего этого мира находится где-то под крышей храма, на котором, вместо сбитого креста, — звезда. Сколькоконечная? Какая разница, если креста на вас всё равно нет...

Это главное. Остальное — беплетристика. Даже то, что мы не слышим, не видим, не понимаем, не ценим, не хотим знать в каждом человеке, — человека. И вряд ли можем до конца, если б хотели. И об этом, а собственно не о ком-то конкретно: об ограниченности человеческой, вечной и непреходящей звонит колокол. И надо, чтоб звонил.

Насчёт вопроса “что?” стало романом “Обитель” — достаточно. Тут уж вроде бы и становится понятно “зачем?”. Но мало ли... Надо повторить, коли выпал случай.

Книга большая, красивая, весомая. Чем больше людей её прочтут, тем лучше. Перечитают — ещё лучше. Она осталась во мне раной, и я будто бы хочу прижать её к этой ране и не знаю, как. Поэтому пишу это всё немедленно, чтобы стало легче. Англичане расстреляли Соловки из корабельных пушек 7 июля, не знаю, какого века. А монахи молились. Камень летел в стороны, и летела вверх молитва. И англичане ушли. Наверно, им стало страшно.

А мне теперь, по окончании книги, стало грустно. Я всё вижу их: Галию и Артёма в лодке. Серый берег, серое море, серое небо. Они плыли-плыли куда-то, но доплыли только до тех, кому ещё хуже. Вернулись, а уже всё, всё кончилось, нельзя было возвращаться. И лодку относит, она качается, а они стоят в ней и смотрят на меня — вот так же, как смотрели друг другу в глаза за минуту до мнимого расстрела. Смотрят, и я не знаю, что мне делать с ними: автора уже нет поблизости, а я — я-то что им должен?

Захар Прилепин сидит в кафе и тоже грустит: “Русская история даёт примеры удивительных степеней подлости и низости: впрочем, не аномальных на фоне остальных народов, хотя у нас есть привычка в своей аномальности остальные народы убеждать — и они верят нам; может быть, это единственное в чём они нам верят.

Однако отличие наше в том, что мы наказываем себя очень скоро и собственными руками — других народов в этом деле нам не требуется; хотя, случается, они всё-таки приходят — в тот момент, когда мы, скажем, уже перебили себе ноги, выдавили синий глаз и, булькая и кровотока, лежим, ласково поводим руками по земле.

Русскому человеку себя не жалко: это главная его черта.

В России все Господне попущение. Ему здесь нечем заняться.

Едва он, утомлённый и яростный, карающую руку вознес, обернётся к нам, вдруг сразу видит: а вот мы сами уже, мы сами — рёбра наружу, кишки навыпуск, открытый перелом ураль-

ского хребта, голова раздавлена, по тому, что осталось от лица, ползает бесчисленный гнус.

“Не юродствуй хотя бы, ты, русский человек”.

Нет, слышишь, я не юродствую, нет. Я пою...”

Вот как поют страницы истории. И, как сказал бы Блок, “хлопает противная кровь на этих страницах — кровь тяжёлая, гнилая, болотная”. Но и он же сказал: “От скуки к радости нет дороги, но от скуки к радости — прямой и суровый путь”.

Может быть, потому я грущу и сетую, что нигде в “Обители” не нашёл я пути — ни прямого, ни сурового? Или автор не захотел обмануть нас, и он действительно его не видит?

Как ни ворочай мозгами, а всё приходится к одному. В “Дневнике Галины Кучеренко” записаны слова Эйхманиса (или Троицкого? да какая разница): “Дело большевиков — не дать России вернуться в саму себя. Надо выбрать колуном её нутро и наполнить другими внутренностями”.

Многие сейчас подумали о плохом в России. Но плохое в России это отражение её хорошего. Имейте в виду: большевики вторую сотню лет говорят это и о хорошем в России, и в первую очередь о хорошем. Именно оно не даёт им покоя. Вырубив голого царя и поняв, что этого мало, демон революции хотел бы колуном вырубить того самого голого Бога, который наплевает в сумеречное сознание Артёма, являющегося почти безданным посредом расстрельного колунаера:

“— Бог здесь голый. Я не хочу на голого Бога смотреть.

Бог на Соловках голый. Не хочу больше. Стыдно мне. (...)

Бог не мучает. Бог оставляет навсегда (то же по мысли есть и в “Любви к трём цукербинам” Пелевина, и это знаменательно! — М.Е.) Вернись, Господи. Убей, но вернись!

Покаяния отвержи мне двери, Жизнодавче” — бредит Артём над тайной.

И является страдальцам ангел, и, утлив смертный страх, начинает мучить Артём приговорённого сокамерника-палача... Се человек. Амаляга между тьмою и светом.

Так что же нам делать? Бог наш — Рок наш? Вырубать — не рубить? И можно ли рубить, удастся ли? Вырубим, и поймём, что это и не мы уже вовсе. Так что? Нести Рок Божий и дальше? Но сколько можно, сколько можно, сколько можно!!!

Сколько нужно?

Дуализм Бытия непреодолим и единственно реален. И чтобы не рухнул Запад во славу Востока, мы, дураки, жертвенные овцы, будем стоять тут с Владимиром Евангелием, двуглавым орлом Иванов и Василиев, на романовских пустошах, со сталинской атомной бомбой и сверхзвуковой ракетой Путина — как наконецником копыя Георгия Победоносца.

Так вот, о том “зачем?” и о главном герое романа: Затем, что время не ждёт. Пора отвечать на важные вопросы. Пора понимать страну свою и мир сей. Иначе всё вернётся: не изнутри, как снаружи, не снаружи, так изнутри. Время идёт по кругу. Смыслы смугнут не все. Но мы не слышим. И пока не слышим — главные герои романа “Обитель” (как и всей настоящей литературы) — это мы. И единственный путь, которого нет в романе, есть в нас. От скуки к радости, прямой и суровый. Начинает же он — всякий с себя.

А Бог — Он возвращается туда, где начинает, наконец, теплится последний дышанием исторнутая Ему навстречу правда. Может быть, и по дорожке на расстрел. И она, правда эта, одевает голого Бога, чтобы не замёрз...

Нижний Новгород

Тут мне случайно на глаза попаласть статья Захара Прилепина “Стилистические расхождения”, опубликованная на первой полосе “Дня литературы” № 11 — 2014 г.

Там речь идёт о некоем споре, который автор вёл или ведёт с русскими националистами. И в котором он будто бы для себя что-то прояснил. А в результате обнаружил свои стилистические расхождения с упомянутыми.

Возможно, я пропустил этот интригующий эпизод из жизни русских националистов, поскольку не припомню никакой публичной полемики между ними и Прилепиным. И мне непонятно, с кем именно и по какому поводу идёт спор. Но поскольку сам я в течение добрых двадцати лет представляю указанное течение мысли на всех самых ответственных трибунах российской печати, то поневоле приходится поднимать даже не мне лично брошенную перчатку. Известное дело: nobless oblige.

Я бы, может, и не стал отвечать: мало ли что один писатель придумал для писательской газеты. На то они и выдумщики, писатели-то. Только уж больно выдумки прилепинские характерны для нашего времени, когда невежество и легкомыслие плодят один концепт за другим в жанре “фолк истории”. Создают мифы о русском, в которые потом истою сами же и верят. В частности, Прилепин, защищая имперский принцип бытования России, пытается скомпрометировать идею Русского национального государства.

Вот некоторые концептуальные аргументы Прилепина, не соответствующие действительности и не могущие быть подтверждены данными наук.

1. “Сам по себе этот посыл — страна распалась в силу национальных противоречий — глубоко ложный”.

И это написал человек-очевидец, переживший распад СССР, Азербайджана, Молдавии, Югославии, Сербии (отделение Косово), Чехословакии, Грузии и переживающий ситуацию распада на Украине?! Даже не верится: бывает ли такая самоуверенная слепота вопреки очевидному.

Впрочем, не только отечественная история демонстрирует нам распад многонациональных империй именно и только по национальным границам, начиная от империи Александра Македонского и включая крушение Российской Империи, Австро-Венгерской, Оттоманской, Германской, Японской и т.д. Всё это в той или иной форме сопровождается борьбой за национальное освобождение или национальный суверенитет и самоопределение различных имперских этносов. Иногда национальные государства, образовавшиеся в результате распада империй, недолго живут самостоятельно и затем поглощаются другими империями. Так Византия утилизировала часть Римской империи, Советский Союз — часть Российской империи, а



Александр СЕВАСТ'ЯНОВ

Третий Рейх — Германской и Австро-Венгерской. Не случилось кризис в этой новой империи, как развал по национальным границам постигнет в свою очередь и её, и вновь центробежные силы, тягущиеся в каждом жизнеспособном народе, приведут к созданию национальных суверенных государств.

Так, между прочим, произошло с СССР, наследовавшим Россий-

ский Империи. Не прошло и ста лет, как случилось повторное крушение имперской структуры, сопровождающееся созданием не просто национальных государств, а прямо-таки этнократий по всему периметру России. Превращение которой в Русское национальное государство по примеру прочих бывших “братских” республик сегодня уже началось через исправление несправедливых антирусских границ. И никакие прилепины этому объективному процессу помешать не смогут.

Итак, страны (конкретно: империи) распадаются по национальным границам именно в силу национальных противоречий. Таков общеизвестный исторический закон, подтверждаемый множеством фактов.

2. “Смута 17-го века, февраль 17-го года, октябрь 17-го года и распад 1991 года случились по совершенно другим причинам”.

Смута, может, по другим — там была великая усталость от Ливонской войны плюс династический кризис. Отчасти по другим и Февраль — такая же великая усталость от мировой войны плюс династический кризис. Но вот в целом 1917 год (особенно Октябрь) и 1991 — как раз по тем самым, национальным.

Чем была так называемая “русская революция”? Об этом исчерпывающе точно, коротко и ясно сказал ещё в 1912 году профессор П.И. Ковалевский: “Революция эта не что иное, как бунт инородчества во главе с еврейством против России и русского народа”. Эта революция началась не в Москве или Петрограде, а ещё в 1916 году в Туркестане, когда в 16 губерниях полыхнуло так называемое Среднеазиатское восстание (преимущественно киргизов и казахов). Правительство так и не сумело одолеть это чисто антирусское и антирусское восстание и оно плавным переросло в революцию 1917 года, закончившись на первых порах отделением Туркестана, присоединять который большевикам пришлось заново вооружённой силой. О роли в революции поляков, финнов, грузин, ар-

мян, венгров, китайцев, латышей и прочих инородцев, а также всего евреев я здесь распространяться не стану. Это факты настолько известные и вопиющие, что если Прилепин их не знает, значит, ему пора собирать портфель и идти учиться в первый класс русской истории. Достаточно сказать, что все великие, революционные партии возглавлялись евреями, а практически во все переломные моменты Гражданской войны исход дела решали латышские стрелки.

Тот факт, что в Красной армии участвовало порядка пяти миллионов крестьян, преимущественно русских, ничего не меняет. Крестьянские

бунты на Руси случались и ранее, и всегда правительством с ними умело справляться. Единственный случай, когда дело пошло не так — это когда на теле русского бунта воссела еврейская голова.

Об антирусском характере “русской революции” яснее всего говорят её итоги, когда весь русский народ оказался в униженном и пораженном состоянии, был вполне официально превращён в бесправного донора по отношению к другим народам советской России — это случилось уже на X Съезде ВКП(б), сразу по окончании Гражданской войны. Его святости, его культура, его история подверглись жесточайшему поруганию. Его исторический путь был пресечён, созданное им государство убито, уничтожено, его тысячелетние сокровища разграблены, его биосоциальная элита сведена с лица Земли или отправилась в эмиграцию, оказалась оторвана от своего народа (Серебряный век, начавшийся на берегах Невы, закончился на берегах Сены, по формуле Ренэ Герра).

С 1917 годом, его национальный, антирусский сущностью все кристально ясно.

Возьмём теперь 1991 год.

Распад СССР также есть результат вырвения национальных противоречий, хотя об этом мало кто писал и знает. Проще говорить о заговоре Запада и предателе Горби.

На деле было так. Прилепин пишет: “То, что большевики... шили российскую империю за три года — снова доказывает, что народы, населяющие империю, были готовы к дальнейшему благополучному сожительству”. Он забывает две вещи. Большевики “шили” заново вместе только те народы, национальные элиты которых они сумели уничтожить или подавить. Там, где этого сделать не удалось (Финляндия, Польша, Прибалтика), остались самостоятельные государства, суверенные народы. Это понятно: рабочим и крестьянам разных народов делить нечего, их легко и просто удерживать в едином пространстве под единой властью, тем

более, что большевики немедленно взяли кормить, развивая и всячески улагодивать все народы за счёт русского народа.

С тех пор, пока был жив мудрый Сталин, перническая зачистка всех национальных элит (начиная с русской, разумеется) стала нормой советской жизни. Ибо Сталин понимал: если национальные элиты вновь поднимутся во весь рост, они разорвут страну на удельные княжества. А безглавный простой народ этого не сделает никогда.

Глупцы из Политбюро этого не понимали. В результате к 1980-м годам сложилось непримиримое противоречие между центральной влас-

тью и властями республик, стремившимися к бесконтрольности и всевластию.

В 1970-1980-е годы высшая партийная власть в СССР неуклонно “русела”, как и опорная масса партийцев в целом: составляли 51% населения страны, русские составляли 59% среди членов партии. Центральная власть к рубежу 1990-х в основном сосредоточилась в русских руках.

Но совсем противоположная картина складывалась в республиках. Управлять значительными этническими областями, не опираясь на местную этническую же элиту оказалось совершенно невозможно, это большевики в конце концов поняли. Именно к 1980-м годам во всех республиках, кроме РСФСР, выросли национальные элиты, заботливо выпестованные Политбюро КПСС (инструментом такогоращения были республиканские ЦК КПСС и ВЛКСМ, республиканские АН, творческие союзы и т.д.). Этим был подписан смертный приговор Советскому Союзу.

В итоге премудрой партийной национальной политики в союзных республиках компартии выработали свою собственную формулу, по которой складывался этнический облик руководства: первый секретарь и большинство членов Политбюро должны были представлять основную национальную республику (даже если представители этой национальности составляли меньшинство в партийной организации республики), второй секретарь (так называемая рука Москвы) — обычно русский; среди других русских членов Политбюро — это чаще всего командующий военным округом, руководитель КГБ или МВД. Остальные номенклатурные лица в высшем партийном руководстве, как правило, предназначались коммунистам так называемой коренной нации.

Неуклонный численный рост национальных политических элит вызвал к жизни диалектические последствия: количество переросло в качество. Рокные изменения в этническом составе